

КОНКИСТАДОРЫ

* * *

Война окончилась, и Каталина Монтехо перестала ждать своего мужа, так и оставшегося лежать завернутым в сорванную портьеру в захваченном баронском доме, далеко, в Германии, в Эбервальде. Его друзья ушли в очередную атаку, и на тело чужака молча смотрели разгромленные буфеты — смотрели детскими глазами крестильных чашечек, расписанных сиренью. В разбитое окно тянуло смрадом из вольера, где лежали трупы немецких овчарок, отравленных бежавшими хозяевами. Муж Каталины не погиб в бою — его зарубили во сне за два дня до конца войны шашкой, на серебряном эфесе которой было вытравлено имя «Эннегрет». Хозяин шашки «Эннегрет» пах гарью и смертью, как сожженный дом, как вся окраина городка, где уже угасало пламя шестилетней войны. Он незамеченным взобрался по загаженной и окровавленной мраморной лестнице, между разбитых статуй, спящих солдат и по-

ющих патефонов, один из которых исполнял «Лили Марлен», а другой — увертюру к «Тангейзеру». Прошел по анфиладам комнат, среди призраков своего детства, и остановился у кресла, где спал человек с чувственным, резко очерченным ртом. Медленно, со страстной осторожностью ненависти поднял тяжелую шашку и ударил два раза. Через полминуты он сам был убит в спину длинной очередью из автомата.

* * *

Известие о смерти мужа привез Каталине Монтехо друг семьи, Филипп Каstellано — он и убил сумасшедшего барона в Эбервальде. Он горевал едва ли не больше вдовы, оставшейся с четырьмя детьми на руках, — Филипп был не только дальним родственником ее мужа, но и его неразлучным другом с детства. Вместе они росли в Гранаде, вместе учились в Резиденции, вместе выступили против Франко и были вынуждены бежать из Испании в октябре тридцать восьмого года, когда оставаться там стало невозможно. Каталина против своей воли с мельчайшей отчетливостью помнила тот страшный осенний полдень в порту Картахены, который безостановочно бомбили франкистские самолеты. Причал, где шла посадка, за считанные мгновения обратился в крошечный ад, в месиво из чемоданов, разорванных осколками, окровавленных человеческих тел, уже неподвижных и еще

Конкистадоры

извивающихся. У женщины до сих пор немели ноги, когда она вспоминала, как муж толкал ее, оцепеневшую от ужаса, на трап, уже перекрытый ранеными и трупами, и как она решилась наконец ступить на чье-то бьющееся в агонии тело. Она и сейчас не могла понять, каким чудом не потеряла в этом чудовищном хаосе из крови и паники никого из детей, не помнила, как они оказались на палубе, а затем — в трюме, как отчалил корабль, навсегда увозивший их от берегов родины. На этом корабле Испанию покидал и другой, безмолвный и неподвластный смерти пассажир. То было легендарное золото конкистадоров, шестьсот тонн слитков и ювелирных изделий, как оригинальных, так и индейских перекованных некогда из религиозно-эстетических соображений. Наспех сбитые ящики тесными угрюмыми рядами стояли в трюмах. Их не успели расположить так, чтобы сбалансировать бортовую и килевую качку, и когда начинало штормить, волны с усиленной яростью набрасывались на судно, пробирающееся между валов жуткими скачками и с запинками, будто пьяница, готовый вот-вот потерять равновесие. Всю дорогу Каталину одолевала смертельная дурнота. Она неподвижно сидела на чемодане, поджав под себя ноги в разорванных чулках и оперевшись спиной о ящик с золотом, призрачно-бледная, равнодушная ко всему, вновь и вновь переживая ужас затихшей вдали бомбежки. У женщины смутно осталась

в памяти Одесса, тенью мелькнула Москва, сном показался душный грязный поезд, увозящий семью все дальше на восток. Очнулась она только в Алма-Ате. Ее пробудил безмятежный шум арыков, таящий в себе нечто знакомое. И то же странное чувство пронзило Каталину, когда она взглянула на пирамидальные тополя, темными рядами стоявшие вдоль длинных, истомленных жарой улиц, на синие горы, замыкавшие горизонт повсюду, куда бы она ни обернулась. Это было лишь смутно похоже на покинутую Гранаду, и все же здесь женщина решилась вздохнуть полной грудью, взять в руки иглу с ниткой, чтобы привести в порядок одежду детей, прислушаться к звукам незнакомого языка, который ей еще предстояло выучить.

Филипп Кастеллано тоже сумел сесть на тот корабль, уцелела и его единственная дочь, красивая молчаливая девочка, точная копия рано умершей жены. Прибыв в Алма-Ату, испанские семьи получили жилье, Кастеллано — отдельно стоящий флигель, Монтехо — целый одноэтажный дом, просторный, но запущенный. Муж Каталины немедленно взялся его достраивать и перестраивать и к началу войны привел в такой вид, что женщине все чаще начинало казаться, будто она никуда и не уезжала из Гранады. Дом был почти точной копией того, который пришлось оставить, — белый, квадратной планировки, с четырьмя внутренними дворами. Изнутри

КОНКИСТАДОРЫ

он представлял собой непрерывную анфиладу сообщающихся комнат. По мнению соседей, дом построили неудобно и нерасчетливо, но для Каталины он был единственно возможен, как для пчелы единственно возможна шестиугольная ячейка в улье. Достроив дом, муж Каталины вскоре ушел на фронт добровольцем, как всегда, вместе с другом, который был его верной неразлучной тенью. Женщина долго не могла осознать, что Филипп Кастеллано вернулся один.

* * *

Как и до войны, как и в Испании, он приходил каждый вечер на чашку кофе, и как всегда, о его появлении Каталина узнавала прежде, чем слышала стук в дверь, даже если находилась на другом краю дома. Стоило ему поставить на ступеньку крыльца узкую маленькую, совершенно девичью ногу, как ее сердце сразу делало несколько лишних ударов. Она бы умерла от стыда, если бы он когда-нибудь узнал об этом, от стыда, смешанного с блаженством, — Каталина глотала эту пьянящую смесь, пока гость пил свой кофе. Все было как в тот необычайно холодный майский вечер, в Гранаде, много лет назад, когда отец привел в гости будущего мужа Каталины и его неразлучного друга, и она угощала их, занимала разговором, обращаясь только к жениху и не смея взглянуть на другого гостя. Она помнила тот вечер, как помнят драгоценные минуты жизни,

АННА МАЛЫШЕВА

помнила лучше, чем свою свадьбу и первые слова детей. Большой старинный дом медленно тонул в сумерках, они уже наполнили все четыре внутренних двора, в одном из которых находился колодец; казалось, из него они и выползали к ночи, чтобы затопить комнаты. Кладбищенские кипарисы, стоявшие вдоль улицы, стали черными на фоне бледного неба, сонно лепетала вода в арыках, прорытых еще арабскими властителями Альхамбры. Закат лежал на гористом горизонте, как груда битого стекла — зеленого и розового. Один осколок был у нее в груди, под сердцем, Каталина чувствовала его всякий раз, когда делала глубокий вдох, с того момента, как увидела того, кто не предназначался ей в мужа — худого, белокурого, с плаксивой линией рта, всегда одетого в черное. Она любила его, не смея встретить тяжелого взгляда бесцветных глаз, любила беспричинно и тем более неправимо. И вот он вернулся с войны и давно уже вдовец, приходил по вечерам на чашку кофе к ней, уже вдове, и сказать ему о своей любви было еще невозможней, чем когда-либо.

* * *

«Эта девочка — единственный свет моих глаз», — сказал ей Филипп Кастеллано перед самой войной, приведя в дом Изабеллу-Клару-Эухению, тоненькую девушку, почти подростка, одетую в тот вечер в зо-

Конкистадоры

лотистое парчовое платье своей покойной матери, под которым терялась детская грудь. Она стояла неподвижно, преувеличенно серьезная и нелепо нарядная, в старомодной шапочке с пером, обшитой жемчугом, с брильянтовой брошкой на груди, — девочка, невозмутимо согласившаяся стать женой Хорхе, любимого сына Каталины, не выказав при этом ни радости, ни страха. Так же невозмутимо и необъяснимо покорно она увяла в первый же год супружества, превратившись в безмолвную тень, одну из тех, что населяли дом Каталины.

На второй год войны невестка родила девочку, которую назвали в честь покойного деда — Берналь, и Каталина наконец вздохнула спокойно. Все это время она еще чаще, чем обычно, вспоминала о своем проклятии, которое находилось совсем рядом, в белой пустой комнате, где из мебели стояло только большое продавленное кресло. Чужаку, который заглянул бы туда случайно, показалось бы сперва, что в кресле сидит деревянная раскрашенная статуя с глазами, инкрустированными черной и белой эмалью. Однако это был брат-близнец Хорхе, мужа Изабеллы. Каталина еще в Испании показывала Диего десятку врачей, слышала туманные рассуждения о том, что один из близнецов часто страдает от нехватки кислорода и рождается слабее другого, и тут же — их заверения в том, что молодой человек может прожить еще хоть сто лет. Он и в самом деле никогда ничем не болел, тогда как его брат, Хорхе, каждую неделю раздевался в холодном белом каби-

АННА МАЛЫШЕВА

нете доктора, вздрагивая и задыхаясь от прикосновений пальцев к своей впалой голой груди. Берналь росла совершенно здоровой, несмотря на голодные военные годы, а ее отец чувствовал себя все хуже. Наконец он попросил перенести свою кушетку из супружеской спальни в комнату брата, где и умер в один из послеполуденных часов долгого летнего дня, когда вся семья слушала в столовой по радио очередные сводки с фронтов; умер, глядя в угол, где с великолепной осанкой египетской статуи сидел его брат, хотя и отвечающий всем канонам о вместилище души своего оригинала, но не оживший после его смерти, как не ожила ни одна из статуй в Долине царей.

* * *

После войны время замерло в сумеречном доме, который выстроили так, что туда не заглядывало солнце, какой бы жаркий день ни стоял на дворе. Здесь, среди незаметно растущих внуков, Каталина не считала прожитых лет, здесь легко, будто козочка, носилась по комнатам Берналь, отвлекая от занятий кузена, внука Каталины от старшего сына. Франсиско-младший твердо решил поступить в университет, чем очень льстил тщеславию бабушки. Каталина так и не смирилась с тем, что его отец, ее первенец Франсиско-старший, на которого она возлагала столько надежд, когда-то бросил учебу и служил теперь в городской типографии черно-

Конкистадоры

рабочим. Он огрубел, понемногу приучился выпивать, домой возвращался за полночь, засиживаясь после смены в грязной закуской. Его жена, кроткая и болезненная женщина, несколькими годами старше мужа, не решалась даже упрекнуть его, так боялась — не то звука своего голоса, не то сурового взгляда свекрови. Когда-то, сразу после приезда в Алма-Ату, Каталина не одобрила этот брак, хотя Микаэла тоже была испанкой, вдовой эмигранта, погибшего в порту Картахены. Каталина считала, что ее сын мог бы выбрать супругу красивее, моложе и совсем необязательно испанку — здесь ее взгляды не отличались узостью. Но муж приказал ей не путаться не в свое дело, сын настоял на своем, и она смирилась, хотя даже спустя многие годы продолжала игнорировать и затирать в черную работу старшую невестку, подчеркнуто балуя младшую, Изабеллу. Каталина невольно перенесла на нее свои чувства к человеку, о котором думала не переставая, начиная с того зачарованного вечера далекого мая, когда Гранада тонула в розовых сумерках, за белой оградой кладбища жутко стонали влюбленные совы и ее руки предательски вздрагивали в то время, когда она передавала визитерам чашки с кофе.

Во флигель, где в одиночестве жил отец Изабеллы, Каталина впервые вошла только поздней осенью спустя десять лет после войны. Под окнами стлался дым от сжигаемых повсюду листьев, на веранде через два дома трофейный патефон играл увертюру из

«Тангейзера». Следя, как Микаэла расставляет вдоль стены стулья для бдения, а Франсиско-старший бережно усаживает у изголовья постели безмолвную Изабеллу-Клару-Эухению, она даже не сразу узнала покойного, испытав что-то вроде разочарования при виде его старого черного костюма, вялых прикрытых век и плаксивого впалого рта, будто прилипшего изнутри к зубам. Ее руки больше не дрожали, и она не слышала легких шагов, что не давали ей покоя всю жизнь. И все же перед нею на постели лежал единственный мужчина, которого она любила, и Каталина впервые в жизни поцеловала его желтый высокий лоб, при всех, ничем не рискуя, и села на стул у самой двери спальни, храня на сомкнутых губах ощущение его кожи — липкой, словно смазанной маслом. Она поклялась себе больше никого не целовать до самой смерти — ни мужчину, ни женщину, ни ребенка. Патефон на веранде через два дома играл уже «Лили Марлен». То, что песня была о вечной любви, смутно волновало Каталину, и она знала, что сдержит слово.

* * *

Женщины собирались вечерами в одном из внутренних двориков, где в землю были вкопаны стол и две скамьи, а вдоль стен цвели розы Каталины. Они чинили одежду, чистили ягоды для варенья или вязали — Микаэла умудрялась немного этим подрабатывать. Газетами они не интересовались,

КОНКИСТАДОРЫ

книг в доме не водилось, если Каталина что-то и читала, то это были письма от дочери Александры, вышедшей после войны замуж и уехавшей на север. Каталина читала эти письма вслух, и невестки слушали, отмахиваясь от назойливых мух руками, сладко пахнущими одеколоном. Им они, по совету доктора, сообща протирали на ночь парализованного брата Хорхе, чтобы у того не появились пролежни. Каталина в его туалете участия не принимала. Ущербного сына она не любила, втайне стыдилась, как стыдятся невольного греха или промаха, и даже избегала называть по имени. Он был «брат Хорхе» — и только, как будто лишь связь с давно умершим человеком делала его бесцельное существование допустимым. Внуки, с ее подачи, не знали, как зовут дядю, по простоте душевной полагая, что имя ему ни к чему, и относились к нему как к предмету обстановки. Но для невесток эти походы в дальнюю белую комнату, где, кроме кресла, стояла теперь еще и клеенчатая кушетка, были чем-то вроде игры в театр. Каталина случайно узнала, что они создали целый ритуал вечернего туалета, разыгрывая фрейлин, умывающих и переодевающих короля. Слабоумный паралитик сносил более чем часовую церемонию со своей обычной невозмутимостью, не проявляя ни удовольствия, ни раздражения. Более того, однажды, когда Изабелла-Клара-Эухения перевязывала ему старый черный галстук (одевали его в костюмы покойного брата), он даже чуть-чуть улыбнулся ей,